



В. ВОИНИЧЕВСКИЙ

БОЛЬШАЯ
БАРЫНЯ

Василий Александрович
Вонлярлярский

Воспоминания о Захаре Иваныче (Рассказы)

Василий Александрович Вонлярлярский (1814–1852) – популярный русский прозаик середины XIX века.

Зарубежные впечатления писателя лежат в основе рассказа «Воспоминание о Захаре Иваныче»

Рассказ впервые опубликован в журнале «Современник» в 1851 году (№ 6).

Произведение подверглось довольно серьезному вмешательству цензуры. Наибольшие претензии вызвали эпизоды с участием принадлежащего Захару Иванычу крепостного, называемого им Трушкой. Даже самая эта кличка была последовательно заменена в печатном тексте на нейтральное «Трифон».

Содержание

#1	0005
ПРИМЕЧАНИЯ0099

**Василий Вонлярлярский
Воспоминание о Захаре
Иваныче**

(Рассказ путешественника)

26 июля 1846 года, осмотрев кульмское поле сражения, сидел я у решетки русского монумента в ожидании дилижанса, долженствовавшего проехать из Теплица в Дрезден. Дилижанс не замедлил; на вопрос мой: «Есть ли свободное место?» – кондуктор отвечал утвердительно и отворил карету: в ней сидело уже пять пассажиров, я занял шестое, и последнее, место между двумя немцами, сидевшими спиною к лошадям.

День склонялся к вечеру, солнце не грело, но жгло; атмосфера в дилижансе нашем сгустилась до того, что дышать было трудно.

Окинув взглядом спутников моих, я поражен был наружностью двух из них; оба сидели против меня у самых дверей, обоим было лет по пятидесяти и в обоих было по десяти пудов весу; красные, опухшие лица их изображали нетерпение, страдание и досаду. Немец, сидевший между ними, курил из фарфоровой студенческой трубки, и каждый раз, когда облако табачного дыма проходило мимо носа толстяка, сидевшего с правой стороны, глаза его закрывались, а самое лицо ухо-

дило в широкий желтый галстух, как голова черепахи уходит в свою скорлупу. Наконец нетерпение толстого господина дошло до высшей степени, и, повернув голову круто влево, он обратился мимо немца к толстяку, сидевшему с левой стороны, с следующим вопросом: «Min Herr lange gefart in Dresd?»[1] - «Nicht verstehe»,[2] – отвечал тот. Вопросивший господин подумал и перевел вопрос на французский язык, но вопрос свой облек он и на этом наречии в такую же форму непонятности; когда же толстяк левой стороны отвечал знаками, что он и этого языка не понимает, – «Ну, побери же тебя нелегкая!» – воскликнул с досадою на чистом русском языке толстый господин, сидевший справа.

При этом возгласе глаза того, к кому приветствие это обращалось, заблестали радостью. «Как? – спросил он, – вы русский?»; и оба господина обнялись с восторгом.

Когда первое изъявление радости миновало, господин правой стороны начал длинный рассказ своего несчастного путешествия, из которого я узнал, что назывался он Захаром Иванычем, что, пристроив последнюю дочь,

выехал из России бог знает для чего, что почел за священную обязанность, путешествуя, не пропускать ни одного достопамятного места, не ознакомившись с примечательностями, вследствие чего без всякой надобности взял в Теплице несколько горячих ванн, от которых и приключился ему удар, и что наконец, предвидя неудобство сидеть шестерым в дилижансе, он взял для себя одного два места, но одно из них оказалось в другой карете.

Повествование заключилось кучею сильных и резких выражений. Слушая Захара Иваныча, я не мог удержать улыбки, которую он заметил и нахмурил брови. Я поспешил успокоить почтенного земляка и стал говорить с ним по-русски. Восторг Захара Иваныча чуть не причинил ему второго удара: так громко, так искренно обрадовался он, что нашел в душной и узкой карете двух русских.

На половине дороги кондуктор объявил, что дилижанс не отправится в путь ближе получаса, и потому мы успеем напиться кофе; Захар Иваныч предпочел ужин, заказал его, а сам отправился купаться. За чашкою кофе я познакомился с другим земляком моим, не

уступавшим в досужестве Захару Иванычу, но не походившим на него ничем другим. Он ехал в Брюссель, где ожидали его жена и дочь.

Ужин, заказанный Захаром Иванычем, был аккуратнее его и поспел к сроку, в то время как сам Захар Иваныч долго еще должен был служить прелюбопытным зрелищем для жителей того местечка, в котором мы остановились. Проезжая мимо пруда (кондуктор не оказал ни малейшей готовности ждать нашего спутника), увидели мы, что Захар Иваныч лежал доскою на поверхности воды, нимало, по-видимому, не заботясь ни об ужине, ни о новом знакомстве своем.

Утром следующего дня прибыли мы благополучно в Дрезден и остановились в гостинице Гайдукова.

Дрезден – первый иностранный город, который обращает на себя особенное внимание русских путешественников, выезжающих из России сухим путем. Многие из них, пробыв в Дрездене трое суток, верно уже успели познакомиться с Цвингером, Фингляртером, Террасою, Японским дворцом, Королевским садом

и, верно, побывали мимоходом в картинной галерее, в Грюнговельбе, в Музеуме, слезили на крышу лютеранской церкви Богоматери и накупили кучу всякой дряни, а главное, по случаю дешевизны всего, издержали гораздо более, чем предполагали, и устали до смерти.

В первый проезд мой чрез Дрезден я не только прошел полный курс печатного путе-водителя, но прошел и Саксонскую Швейцарию, а что всего хуже – познакомился с тремя лучшими врачами.

Теперь я в третий раз приехал в Дрезден. Сделавшись опытнее, разумеется, не звал я врачей, не лазил на крыши, а, выбрав комнату самую удобную, расположился отдохнуть в ожидании обеда. Сон мой был прерван появлением хозяина гостиницы; пухлое лицо его было орошено слезами, а желудок вином; он был, по-видимому, более пьян, чем несчастлив.

– Что вам нужно? – спросил я у Гайдукова.

– Я погибший человек! – отвечал Гайдуков, и слезы потекли за галстух.

– Но что же с вами случилось?

– Разорен и гибну без возврата!

– Жаль! но отчего же гибнете вы без возврата? – спросил я, вставая с постели.

Гайдуков сообщил мне печальную историю своих несчастий, которой не могу не рассказать: так забавны показались мне эти несчастья.

Счастливейшая эпоха жизни его прошла на родине пред кухонным очагом. Лет десять назад Гайдуков поехал с барином своим за границу; барин его там умер, Гайдуков остался один. С той минуты начались несчастья, которые так усердно оплакивал хозяин великолепной гостиницы, что на Соборной площади в Дрездене.

Несчастный Гайдуков имел несчастье понравиться двадцатилетней девушке, немке прекрасной нравственности, дочери честных, богатых родителей и хорошенькой собою, которая согласилась выйти за него замуж. За женитьбой последовал случай купить в кредит и за сходную цену один из лучших домов в городе. Гайдуков, сделавшись гражданином дрезденским, очень скоро научился говорить по-немецки. За несчастным переходом из поваров во владельцы последовало новое несча-

стие: купцы дрезденские предложили Гайдукову меблировать дом его в кредит, снабдили серебром и бронзою, и пустой дом Гайдукова превратился в роскошную гостиницу. Хозяин с горя предался пьянству, игре и буйству; выгнав жену на улицу, несчастный Гайдуков в течение десяти лет пользовался доходами гостиницы, не платя кредиторам своим ни гроша. Он заключил плачевную историю своих несчастий просьбою ссудить ему пятьдесят тысяч талеров.

Эта просьба, как я узнал, была его привычкою и обращалась ко всем русским без исключения.

Похохотав от души над несчастиями Гайдукова и выгнав его из комнаты, я заснул на несколько часов, а пообедав, отправился на террасу Бриля.

Терраса Бриля – любимое место гулянья дрезденских жителей; с четырех часов пополудни ежедневно собирается на ней множество гуляющих. Посредственный хор музыки играет в воксале до полуночи. За вход платят грош; кружка пива, четверть порции кофе, кусок дыни – продаются по грошу. Расчетли-

вость германская изобрела способ угощаться за сходнейшую цену, и нередко в течение целого вечера простоит перед немцем гигантский стакан воды, на дно которого опускают кусок сахара. Дамы приносят в воксал чулки и тому подобные предметы рукоделия.

В этот вечер многочисленная дрезденская публика была привлечена в воксал новым, совершенно новым предметом. Прибывший из Лейпцига артист играл с неслыханным в Дрездене чувством на инструменте, составленном из небольших колокольчиков. Рукоплесканиям, звону и похвалам не было конца.

Не принимая ни малейшего участия в общем восторге, я преспокойно расположился у окна, обращенного на Эльбу, и предался размышлениям, от которых оторван был неожиданным происшествием.

Я вдруг почувствовал, что две сильные руки схватили меня сзади за шею и так сдавили ее, что при всем желании крикнуть я крикнуть не мог. Не испуг, но удивление овладело умом моим; я был убежден, что в воксале при тысяче свидетелей никто не мог покуситься

на жизнь мою, но, не имея ни в знакомстве, ни в родстве никого, кто бы стал обращаться со мной подобным образом, я терялся в догадках.

Объяснилось, что руки, меня давившие, принадлежали Захару Иванычу; привез он их в Дрезден в вечернем теплицком дилижансе. Захар Иваныч был так забавно наивен, что сердиться на него не достало у меня духу. Он проголодался и спросил две порции кофе, ему принесли четыре кофейника, столько же чашек и молочников, он принялся за кофе, а немцы принялись смотреть на земляка моего с удивлением.

Когда же третий кофейник перешел в желудок Захара Иваныча, он приостановился, ударил себя по широкому лбу и начал думать.

– Что с вами? – спросил я с беспокойством: мне показалось, что с ним удар.

– Позвольте! позвольте! я что-то хотел сказать вам и забыл, – отвечал Захар Иваныч. – Да, вот что!

И земляк расхохотался во все горло.

– Но что же такое?

– Умора, ей-богу, умора, что за народ эти

саксонцы... Ба! да ведь я вам еще не рассказывал, как я доехал до Дрездена!

– Расскажите, пожалуйста.

– Вот видите ли, почтеннейший, – продолжал земляк, сливая в свой стакан все, что оставалось в четвертом кофейнике и в четвертом молочнике, – правду вам сказать, когда мы приехали на ту станцию, где я заказал ужин... ну, помните, ту, на которой мы расстались... я и сообразил, что в карете тесненько, а спешить не для чего, сверх того, мой товарищ, наш брат русский... не знаете ли его?

– Кого?

– Степана Степаныча Выдрова, что живет в Крестцах: прекрасный человек, обстоятельный... скупенек, правда, ну да провал его возьми!

– Не знаю, Захар Иваныч.

– Я познакомлю вас; человек он, знаете, гнилой, и боли в Теплице; «Оставь, – говорит, – Трушку, я привезу тебе его в Дрезден, в вечернем дилижансе, что отходит в четыре часа». – «Эй, привезешь ли?» – «Привезу, – говорит, – честное слово». Вот я, сударь мой, не говоря никому ни слова, и пойдешь купаться, и

вижу, едет ваш дилижанс, Думаю себе, пусть едет на здоровье, а я как выкупаюсь, да поужинаю, да отдохну часок и дождусь второй кареты, то и приеду в Дрезден, не торопясь; так и случилось.

– Но вы, если не ошибаюсь, хотели рассказать еще что-то? – спросил я.

– Да, да! (Захар Иваныч снова покатился со смеху.) Вообразите, почтеннейший, мы вылезли из кареты, остановились в одной гостинице с вами; ну! я умылся, оделся; какой-то болван исцарапал мне всю рожу: видно, здесь и брить-то не умеют; я и выхожу на крыльцо, только вышел, а какой-то господин прекрасно одетый и шасть мне под ноги. «Что, мол, тебе, братец, нужно?» Он по-немецки. Что ты будешь делать! Я за Гайдуковым. Гайдуков и объясняет мне, что господин, сиречь лон-лакей, показывает все городские редкости. Ну знаете, в первый раз в городе – как не посмотреть! я и возьми его.

– Понимал ли же по крайней мере ваш лон-лакей по-русски?

– Ни словечка: да оно бы, вот видите, ничего! уж коли редкость, подумал я, так постоит

сама за себя; на кой прах тут язык? Хоть бы взять, например, картину, колонну какую-нибудь, обелиск или что другое: покажет пальцем, ну приврет там, что ни на есть по-своему, и смотришь. Нет-с, посадил меня насильно в фургон, да и изволит везти за город; гляжу – вывозит совсем-таки вон. Уже и огороды позади, и сады позади... глядь – и картофельные поля под боком; я его за воротник: «Постой, – говорю, – кто знает, что у тебя на уме, а я дальше не поеду»; он – туда-сюда. «Нет, – кричу кучеру, – хераус![3] – а сам машу: назад, назад!» – вернулись; что же вы думаете, какую редкость хотел мне показать этот молодец, а?

– Не могилу ли Моро? – спросил я.

– Что-о? да разве это интересно?

– Смотря по человеку, Захар Иваныч; для меня так очень интересно.

– Эге, ге, ге! значит, дурак-то я, а не он, – проговорил сквозь зубы и почесывая свою лысую голову бедный Захар Иваныч.

Он видимо смутился.

Мне стало жаль земляка, и, желая успокоить его, я приписал всю вину лон-лакею, ко-

торый, имея постоянно дело с иностранцами, должен был бы непременно знать несколько наречий; впрочем, виноват ли был Захар Иваныч в том, что языки не дались ему?

– Все так, ну, да! не понял, не догадался, ну – положим! – воскликнул с досадою Захар Иваныч. – В сущности же, почтеннейший, – продолжал он, – большая мне нужда до их могил, да осмотреть их и жизни не хватит... Му-ро, Мюра, велика важность?

– Но Моро был нашим генералом и убит в Лейпцигском сражении.

– Нашим? – повторил Захар Иваныч, – странно! никогда не слышал: ну, дай бог ему царство небесное.

– А знаете ли, – продолжал он, после некоторого молчания, – право, досадно становится, когда подумаешь, что прожил я пятьдесят лет неучем; ведь держали же и в наше время немцев, французов разных, и куда дешево были они тогда. Помнится, после разорения, пошлют зачем ни на есть в Москву, – соседи и просят матушку, нельзя ли, мол, захватить подводам, как назад поедут порожняком, учителя или двух, или сколько б там ни понадо-

билось; лучшеньких покойница рассылала по родным, а что пожиже, то соседям. Верите ли, вся дворня, даже мальчишки говорили по-французски. Что ж бы, кажется, стоило мне научиться! не тут-то было – только и норовишь, бывало, как бы выжить мусью из дому; а вот пришла нужда, хватился, да поздно. Я, правду сказать, перед выездом из России и припас немецкие разговоры с словарем и всякими прочими затеями; выдумка неглупая – немецкие слова написать по-русски: была бы память, а выучиться нетрудно; я таки, признаться, в первое время и налег на них крепко.

– Зачем же вы не продолжали, Захар Иванович, если вам казалось это так легко?

– А вот отчего, почтеннейший, что книжка-то придумана и хорошо, да сделана глупо; заучил я первые три страницы и знаю, что небо – химмель, звезды – штерне, отец – фатер, а дядя – охейм; дело только в том, когда же придется говорить об этих вещах, а положим, и придется, так не привяжешь же их веревкой ко всему тому, что говорится прежде и после; сверх того, не забудьте, что,

ежели, упаси господи, забудешь пересыпать немецкие слова полдюжиной *дер* да полдюжиной *дас*, то, пожалуй, выйдет совсем другое; нет, батюшка, чуть ли не умней будет книгой-то завернуть что-нибудь, а с немцами объясняться чем бог послал.

Слушая земляка, я не мог удержаться от улыбки, а Захар Иваныч не заметил ее, потому что сам не переставал хохотать во все горло. Видя, что он кончил свой кофе, я встал.

– Куда вы отсюда? – спросил земляк.

– И сам не знаю, – отвечал я.

– А не знаете, так пройдемтесь по набережной, и цухаус![4]

Мы расплатились и вышли из воксала.

Вечер был очаровательный; у наших ног дремала Эльба, вдали на пурпуровом небе отделялись черным силуэтом вершины башен и крыш нового города. Вдоль всей набережной суетился народ; в этот час обыкновенно возвращались в Дрезден пароходы. Земляк, идя со мной рядом, насвистывал префальшиво «Травушку», отчего становилось и смешно и грустно.

Захар Иваныч объявил мне, между про-

чим, что номер, им, занятый, рядом с моим.

Был час одиннадцатый вечера, когда мы возвратились домой. Проходя по длинным коридорам гостиницы, земляк вдруг остановился у одной двери и стал в нее стучать.

– Спишь ли ты? – спросил он чрез замочную скважину.

– Ах! это вы, – отвечал чей-то пискливый голос, – я в постели, а спать не сплю, войдите.

– А не спит, так войдемте, я познакомлю вас, – сказал, обращаясь ко мне, земляк.

– Да кто же тут живет?

– Выдров – тот самый, про которого я говорил вам... Ну, что тут церемониться? войдемте!

– В другое время, а теперь поздно, Захар Иваныч.

Пожелав соседу покойной ночи, я пошел к себе в комнату.

Написав несколько писем и отпустив горничную – прехорошенькую и пресвеженькую немочку, я разделся, лег в постель и заснул крепким сном.

Не знаю, в котором часу, но гораздо за полночь, сон мой прерван был шумом отворив-

шейся двери в комнате Захара Иваныча.

– Кто там? – прохрипел знакомый голос соседа.

– Я, батюшка! – отвечал кто-то жалобным тоном.

– Трушка, ты, что ли?

– Да, сударь.

– За каким прахом?

– Да гонят вон из коридора.

– Кто гонит?

– Коридорная мамзель, сударь; спать, говорит, не позволяется в коридоре.

– Черт тебя возьми! За делом пришел; ну куда я тебя дену, дурака?

– Воля милости вашей: разве здесь прилечь где-нибудь.

– Ну подстели себе что-нибудь и ложись на полу; да смотри подальше, дурачина, – сказал Захар Иваныч, и все умолкло.

Не прошло и получаса времени как разговор в соседней комнате возобновился.

– Трушка! Трушка, каналья! – завопил тем же хриплым голосом сосед.

– Чего-с?

– Не «чего-с», а убирайся вон.

– Батюшка! Куда же мне?

– И знать не хочу, убирайся.

И Захар Иваныч украсил приглашение свое тысячами различных дополнений, которых передать нет никакой возможности.

– Попроситься разве в пустую комнату, что против лестницы? – пробормотал Трушка.

– Хоть на крышу ложись, а чтобы паху твоего здесь не было; вон!

И слышно было, как несчастный Трушка, подобрав что-то с полу, медленно вышел в коридор, осторожно притворив за собою дверь.

– Экая бестия! Экая нечисть! – ворчал сам про себя сосед, непрерывно плюя на пол, поворачиваясь на постели.

За бранью последовало молчание, за молчанием – храп, и такой храп, о котором в Дрездене, конечно, не имели до приезда Захара Иваныча никакого понятия.

На следующее утро, осмотрев еще раз картинную галерею, я пошел прогуляться по городу. На торговой площади встретил я старинного знакомого, Александра-Фридриха-Франца Зельфера, который с визгом только что не бросился ко мне на шею. Алек-

сандр-Фридрих-Франц Зельфер был сорокапятилетний младенец, с пухленькими щечками, с воротничком и в белой бумажной шляпе, покрытой какою-то непромокаемою эссенциею. Отец его, суконный торговец, обращался с детищем своим с невероятною в наш век нежностью, — гонял его за маленькие шалости, укладывал спать не позже десяти часов и нянчился с ним как с грудным ребенком. Юный Зельфер, несмотря на зрелость своего возраста, не имел никакого понятия о многих вещах, не курил ничего и даже не пил пива. Знакомством моим с Зельфером обязан я был страсти, которую питал он ко всем русским. Зельфер понимал наш язык и пресмешно на нем выражался; удовлетворив расспросам Александра-Фридриха Зельфера, я пригласил его обедать со мной.

В пятом часу пополудни мы вошли в общую столовую гостиницы Гайдукова; в ней собралось уже множество посетителей, между которыми заседал и Захар Иваныч, тотчас же представивший мне приятеля своего Степана Степаныча Выдрова, тоненького и желтенького человечка.

Степан Степаныч был тип неприятных людей, как по наружности своей, так и по всему прочему. Судьба, по-видимому, удовольствовалась наделить его полным числом необходимых органов, нимало не позаботясь об отделке каждой части порознь. Глаза даны были Степану Степанычу, вероятно, для того, чтобы он не разбил себе носа; нос же для нюхательного табаку, в который, как я узнал впоследствии, Степан Степаныч клал гераниум и подмешивал немалое количество поташу, и, наконец, самое прозвание Выдрова носил Степан Степаныч, конечно, по сходству волос своих с шерстью животного, от имени которого произошло это прозвание. Я бы мог прибавить несколько слов о рте, зубных корнях (потому что зубов у него не было) и об ушах Степана Степаныча, но это было бы нескромно, потому что рот, сжимаясь, скрывал свои недостатки, а уши были заткнуты морским канатом и ватой. За стол посадил нас Захар Иваныч рядом и спросил шампанского, от которого отказались и Зельфер, и я.

Гайдуков, обращавший все свое внимание на русских, подходил беспрестанно то к одно-

му, то к другому с вопросами: хорошо ли вино, хорош ли повар и ловко ли нам сидеть? И каждый раз, вместо ответа, Захар Иваныч крепко жал ему руку, и благодарил его за всех.

В начале обеда Выдров успел расспросить у меня, откуда я родом, где служил, какого чина, отчего вышел в отставку и сколько у меня душ крестьян и в каких именно губерниях, – а к концу обеда сам рассказал, но не про чин и не про службу, а о причине поездки своей за границу; причина же состояла в железе, образовавшейся, по его словам, в шейных мышцах, треснувшей в запрошлую осень и застуженной в крещенские морозы прошедшей зимою.

Степан Степаныч начинал уже снимать свой галстух, чтобы показать мне железу, но Захар Иваныч взял его поспешно за руки и удержал, оправдывая при том насилие свое весьма основательными доводами.

Я позавидовал немцам, не понимавшим нашего языка, и поспешно вышел из-за стола. Зельфер хотел было сделать то же: он силился встать – и встать не мог; пытался сказать мне

что-то – и сказать не мог. Оказалось, что во время нашего разговора с Выдровым Захар Иваныч убедил Александра-Фридриха-Франца Зельфера выпить два стакана шампанского, вследствие чего Александр-Фридрих-Франц Зельфер сделался пьян.

Гайдуков с помощью двух слуг вывел Зельфера на улицу, посадил на извозчика и отправил к папеньке, а я ушел из столовой, заперся в своей комнате и на громкий зов Захара Иваныча отвечал красноречивым молчанием.

В тот вечер давали «Волшебного стрелка», и я отправился в театр. Кто не слышал этого дивного произведения бессмертного Вебера в Дрездене, тот не может вполне оценить гениального таланта маэстро; сам Вебер поставил эту оперу на дрезденской сцене, он передал душу свою артистам, и до сих пор душа его как бы парит над головами избранных и вдохновенных талантов, первенство между которыми, по всей справедливости, принадлежит Тихачеку.

Во время самого представления ни одного звука, ни одного возгласа не раздавалось в партере, и только по окончании некоторых

арий восторженное «браво!» произносилось вполголоса, и снова тишина водворялась повсюду.

По выходе из оперы я перешел площадь, погулял по Террасе, полюбовался на Эльбу, наелся мороженого, намечтался досыта и возвратился в гостиницу.

Проходя мимо столовой, я увидел Захара Иваныча, игравшего со Степаном Степанычем в преферанс; кругом стояло несколько трактирных слуг, а рядом с толстым земляком моим сидел Гайдуков; по красным белкам его нетрудно было догадаться, что несчастный содержатель гостиницы имел и в этот вечер, как во все прочие, несчастье напиться.

– Здорово, почтеннейший! – воскликнул Захар Иваныч, протягивая мне обе руки.

– Везет ли вам счастье? – спросил я у соседа.

– Какое счастье! – отвечал он. – Смотрите, что этот вампир написал на меня! – прибавил земляк, указывая на Выдрова, который действительно должен был походить на это фантастическое существо.

– Что за счастье, что за счастье! – проговорил шепеляя Степан Степаныч. – Это ли называют счастьем у добрых людей?

– Мало небось! ненасытный ты этакой! – перебил Захар Иваныч, – добро бы раз или два, а то что сядешь с ним, то и развязывай кошель, и прах его знает, как он это делает, чтобы сдавать себе такие игры, от которых не отвертишься, никаким образом, просто способу нет! сами взгляните! ну как не купить? шесть взяток на руках, ну, куплю.

– И я куплю.

– Вот видите! вот видите! ну, куплю во второй раз.

– И я во второй.

– Так куда же ни шло! куплю в третий.

– Куплю и я.

– Провал тебя возьми! да нет! не уступлю же: покупаю.

– То есть в червях? – спросил Выдров.

– Ну в червях так в червях.

– Купим и мы.

– Так вот же тебе, на семь, и провались ты! – рикнул, побагровев, Захар Иваныч и стукнул кулаком об стол.

Выдров молча отодвинул от себя прикупку, которую земляк не взял, а схватил обеими руками, но, взглянув на карты, быстро швырнул их только что не в лицо своему партнеру.

– Ешь их сам! – воскликнул, задыхаясь, Захар Иваныч. – Ведь выбрал, право, выбрал.

– Зачем было покупать? – пролепетал оробевший Степан Степаныч. – А купили, так по правилам надобно играть.

– По правилам! не тебе бы говорить про правила.

– Почему же?

– Потому что, потому что...

И земляк замолчал.

Захар Иваныч был только вспыльчив, но не зол, и заметно было, что ему самому делалось досадно, когда язык его заходил слишком далеко.

И в эту минуту он вытер красным клетчатым платком глянцевику свою лысину, понюхал табаку и, совершенно успокоившись, начал улыбаться и шутить;

– Ну, ну, – сказал он, разбирая свои карты, – подсидел приятель, признаюсь, лихо подсидел; я же тебя когда-нибудь, погоди! Быть мне

без одной, как без шапки; нечего делать! семь в пиках.

– Вист, – прошипел Выдров.

– Знаю, брат, что вист!

И Захар Иваныч поставил два ремиза, перетасовал карты и стал сдавать.

– Верите ли, почтеннейший, – сказал он, обращаясь ко мне, – в продолжение целого вечера такие все лезут алевузаны, что мочи нет, хоть не смотри!

Как ни забавна была игра моих приятелей, но конца не предвиделось, и, пожелав обоим счастья, я отправился к себе. Дорогой догнал меня пресальный лакей, небритый, в казакине из домашнего сукна, подпоясанный ремнем; нижнее платье его, шитое из полосатого тикю, засунуто было в черивленные и разорванные сапоги. Он держал свечку в руках.

– Кто ты и что тебе нужно, голубчик? – спросил я у него невольно по-русски.

– Не извольте-с беспокоиться; я – Захара Иваныча; пожалуйста ручку.

Трушка (ибо это был Трушка) принялся ловить мою руку.

– Не нужно, любезный; сделай милость, не

нужно! – кричал я, стараясь увернуться от прикосновения Трушки.

Мы вошли в мой номер, и услужливый слуга Захара Иваныча, поставив свечу на стол, бросился было снимать с меня сюртук; я снова отскочил от него и объявил, что не хочу еще раздеваться. Трушка отошел к дверям, заложил одну руку за пазуху, другую за спину и принял позу сельских приказчиков. Мне известно было прогнать его, и разговор начался.

– Весело ли тебе за границей, любезный? – спросил я.

– Это как-с барину угодно, – отвечал он, переминаясь.

– Но я спрашиваю у тебя?

– А нашему брату-с везде хорошо, лишь бы барин был доволен!

– У тебя добрый барин?

– Ничего-с, за таким барином можно жить! – И Трушка, прижав пальцем одну ноздрю, произвел другою какой-то звук и вытер обе полою своего кушака.

Я решился его выпроводить.

– Спасибо, любезный, за труд и ступай себе с богом, – сказал я, отворяя ему дверь.

– Ничего-с, я постою.

– Но мне, друг мой, пора спать и тебе не мешает отдохнуть.

– Не извольте беспокоиться, – повторил он очень настойчиво.

– Может быть, тебе нужно сказать мне что-нибудь. Он начал переминаясь, перебирать пальцами, посматривать на потолок и делать всевозможные эволюции.

– Говори, братец, скорей, – прибавил я.

– Да я, то есть, милости вашей, – начал Трушка, – не то чтобы, изволите видеть, и просто как отцу родному...

– Что же? говори, пожалуйста.

– Не знаю, как доложить.

– Просто без предисловий.

– Как же можно просто! сами посудить изволите-с! след ли нашему брату...

Я начинал сердиться, и Трушка это заметил.

– Не во гнев будь сказано милости вашей, – продолжал он, – а я, то есть что угодно прикажите учинить надо мной...

– В чем ты, братец, можешь быть предо мной виноват?

– Помилуйте-с! что барин мой, что ваша милость – все господа, и им то есть язык не пошевелится доложить. Дело не ученое; думаю, намалевано чем ни на есть; только до-тронулся пальцем, ей-богу, пальцем!

Трушка состроил такую рожу, что я чуть не расхохотался.

Нетрудно было догадаться, что он избрал меня посредником между барином и виною своею, в которой страх мешал ему сознаться. Я принудил его объяснить толком, в чем именно состоит его проступок: оказалось, что бедняк оцарапал дагерротипный портрет, стоявший на барском столе. Окончив сознание, Трушка побежал за портретом к чрез минуту передал его мне. Я ожидал увидеть черты почтенного и толстого земляка; но вместо их глазам моим представилась очаровательная головка молоденькой девушки.

– Чей это портрет? – спросил я у Трушки. – Неужели дочери твоего барина?

– Никак нет-с: молодая барыня... как же можно!.. лучше не в пример-с.

– Откуда же взял его Захар Иваныч?

– Об этом не могу доложить-с, а только

вот изволите видеть, — прибавил Трушка, понизив голос и оглядываясь во все стороны, — портрет этот барин мой очень любят и прятать изволят.

Я приказал Трушке отнести портрет на прежнее место и обещал ему походатайствовать за него пред барином; он опять было попытался поймать мою руку, но я решительно и раз и навсегда запретил ему такого рода попытки и выпроводил его вон.

Я никак не мог понять, каким образом портрет посторонней хорошенькой женщины мог находиться в руках Захара Иваныча. Если бы красавица принадлежала к родственному кругу соседа, Трушка не мог бы не знать ее; потом, для чего было бы земляку прятать портрет и возить его с собой. Во всем этом крылась тайна, которую я решился разъяснить, и в ожидании Захара Иваныча составил план атаки. Казалось, сама судьба летела мне на помощь. Прежде чем я лег спать, сосед постучался ко мне; я выбежал к нему навстречу.

— Вообразите себе, почтеннейший: ведь Степан проигрался ужасно, — сказал мне земляк, расхохотавшись во все горло.

– Поздравляю от всей души.

– Послушайте-ка: этого мало, отгадайте-ка, сколько он проиграл... ну, скажите, примерно, сколько?

– Призов двести?

– Триста пятьдесят, батюшка! Каково? – продолжал Захар Иваныч. – Триста пятьдесят чистых да смарал весь выигрыш. Задал же я ему пфеферу...[5] И поделом скряге!.. А сначала-то везло какое счастье, а?

– Прекрасно, сосед! я от души желаю, чтобы торжество ваше повторялось почаще, но на чем бы посадить мне вас: нет ни одного покойного кресла!

– Не тревожьтесь: немцы отучили меня от спокойствия; в первое время, признаться, было как-то неловко, а теперь на что хотите сяду, к тому же и в моем номере аккурат такая же мебель.

– А у вас вам все-таки было бы покойнее, – сказал я соседу.

– Уверяю вас, почтеннейший, все равно.

– Ежели же все равно, так я решительно иду к вам. Впрочем, – прибавил я, – может быть, нельзя.

– Как нельзя! отчего нельзя! – спросил Захар Иваныч, – что вы полагаете?

– Ничего особенного, а все-таки... И я погрозил соседу пальцем.

Сосед расхохотался, покачал головою и, желая доказать, что предположения мои неосновательны, пригласил меня в свой номер.

Номер Захара Иваныча действительно был точно такой же, как мой: с двумя окнами, с одною печью, с тремя дверьми, из которых две были заперты, с комодом, диваном, стульями из красного дерева и дубовою кроватью; разница состояла в убранстве: у меня был один чемодан, и тот небольшой, а у Захара Иваныча четыре; сверх того, у Захара Иваныча висели на стене: яргак из жеребьячих шкурок, тулуп на заячьем меху, камлотовая шинель с длинным полинявшим воротником и теплая бекешь с высокой талией. У Захара Иваныча на ломберном столе расставлены были симметрически разные вещи, как-то: зеркальце, три лукутинские табакерки, фаянсовая бритвенница, рядом с нею лежала обципанная кисточка, пара сточенных донель-

зя бритв в костяных черенках, тульский толстенный ножичек с крючком, ухверткой, зубочисткой, пилкой и штопором, железная печать с изображением герба Захара Иваныча и, наконец, кинжал в малиновых полубархатных ножнах. На окнах стояли два жасминные чубука с сургучными оконечностями и жестяной ящик, заключавший в себе некогда сардинки, а в настоящее время насыпанный золою, которою Захар Иваныч чистит себе зубы.

Увы! ничего этого у меня в номере не было! «Но где же портрет?» – подумал я и взглядом спросил Трушку. Трушка указал подбородком за зеркальце: я заглянул и успокоился.

Захар Иваныч сдвинул было два кресла, но я решительно объявил, что уйду к себе, ежели сосед не наденет ситцевого халата и не ляжет на ситцевое стеганое одеяло.

Земляк пожеманился, но кончил тем, что разоблачился до холстинковой розовой рубашки и с наслаждением возлег на постель.

Приказав набить трубки, до которых, конечно, я не коснулся, он выслал Трушку, и мы остались вдвоем.

Захар Иваныч завел речь о своем путешествии. Разбранив все нации и все земли, которые удалось ему видеть, он коснулся железных дорог: сосед находил их бесполезными.

– К чему они? – говорил Захар Иваныч, – какую пользу приносят они государству? не явное ли это баловство, и сколько народу вместо того, чтоб заниматься делом, то и дело что шныряют из одного города в другой?

– Вероятно, не без цели, – заметил я.

Сосед пожал плечами и посмотрел на меня с сожалением.

– Не без цели? – повторил он. – Желал бы знать, какая может быть эта цель.

– Главная цель – торговля.

– Торговля?! – завопил почти с сердцем земляк. – Тем хуже, потому что торговля сущий обман и больше ничего. Для торговли есть города, а в городах гостиные дворы, лавки: нужно что купить – пошлешь кого; а эти все, что таскаются с ящиками, с коробками, – мошенники, плуты; хоть бы и наши разносчики... я у вас спрашиваю, что у них есть путевого? а ломают за всякую дрянь такую цену, что и приступу нет.

Сосед понес такую чепуху, которую без смеха я в другое время, признаюсь, никак не мог бы слушать, но я думал о портрете и, соглашаясь во всем с соседом, постепенно подвигался к столу.

Наконец рука моя коснулась одной из лукутинских табакерок с изображением купающейся нимфы. Я похвалил нимфу и спросил о цене.

Захар Иваныч, продолжая нести всякий вздор, протянул руку за табакеркою, которую я передал ему, а сам взялся за другую. На другой изображена была прерозовая женщина, распростертая на постели. Захар Иваныч взял и ее; оставалась третья табакерка и зеркало; я предпочел зеркало, взял его и стал в него смотреться.

Земляк, ожидавший, вероятно, последнего рисунка, положил розовую женщину рядом с нимфою и снова протянул руку. На этот раз я передал зеркальце и схватился за портрет.

Помня таинственный рассказ Трушки, я ожидал, что земляк вскочит с постели и, конечно, бросится и на меня и на портрет: ничего не бывало! Захар Иваныч не шевельнулся

и продолжал смотреть на меня с улыбкою.

– Что это за портрет? – спросил я.

– А что, хорош?

– Недурен.

– Оригинал лучше во сто крат.

– Не может быть.

– Право, лучше, – сказал сосед.

Кто же не знает, что дагерротип никогда не льстит женщинам, но этот портрет был так хорош, что быть лучше мне казалось делом невозможным.

– И вы знакомы с оригиналом? – продолжал я.

– Знаком ли? надеюсь, что знаком.

Сосед проговорил эту фразу тоном победителя, мне стало досадно.

– Знаете ли, соседушка, слушая вас, можно подумать, что женщина эта в довольно коротких с вами сношениях.

– Может быть, и так.

– Что же вы хотите этим сказать?

– То, что люблю эту женщину.

– Об этом я не спорю.

– И она меня любит, – прибавил сосед.

– Как отца, согласен.

– Нет, не так, как отца, а как жениха; вот это так, потому что она моя невеста.

Последняя фраза до того поразила меня, что я не нашел слов, чтобы отвечать соседу. По глазам его, по голосу нельзя было сомневаться в истине.

– Ну, скажите по совести, почтеннейший, ведь вам странно показалось, что человек моих лет, только что овдовевший, отец пяти взрослых и замужних дочерей, помышляет о женитьбе.

– Признаюсь, Захар Иваныч, слова ваши мне действительно кажутся шуткою.

– Вот то-то и есть, что обстоятельств-то моих вы не знаете, – сказал с глубоким вздохом сосед. – Разумеется, всякому другому я говорить бы о них не стал, а вас я полюбил с первого взгляда и готов, так сказать, открыть душу.

Я был как на иголках.

– Конечно, по наружности судя, – продолжал он, – у меня дом – полная чаша, скота вдоволь; лошади, могу похвастаться, равных в уезде не найдешь, и строение порядочное, и сад хоть куда... Словом сказать, я как жил при

покойнице жене, дай бог ей царствие небесное, так живу и теперь. А имение-то ведь, по-чтеннейший, все ее; так пока дочерей не выдал замуж, бывало, смотришь, в год и наберется тычонок двадцать, двадцать пять... по нашим краям слишком достаточно. Ну, дочери стали выходить замуж, а в прошлом году и к последней подвернулся жених; он и незavidный, правда, так, свищ. «Нет, – говорит, – папенька, не хочу оставаться в девках». Нечего делать, пожался, пожался, да и выдал. Смотрю, ан плохо.

Я слушал земляка, никак не понимая, к чему клонилась его речь.

– Надобно же вам сказать, – продолжал Захар Иваныч, – что есть у меня страстишка, в которой винюсь пред вами, и страсть эту, как ни старался я превозмочь, не мог никак. Что делать! кто пред богом не грешен!

Сосед вторично вздохнул.

«Наконец, – подумал я, – верно, страсть к этой девушке».

– Живали вы когда в деревне? – спросил меня Захар Иваныч.

– Живал.

– А долго ли?

– Случалось жить и долго.

– Однако ж как?

– По нескольку месяцев.

– А не сорок лет сряду?

– Нет, сорока лет не случалось.

– То-то же, почтеннейший! так вы не знаете, что значит деревенская жизнь. Нешто первые годы: жена молодая, устройство дома, сад и прочие затеи – все это берет время и занимает. Завел было я домашний оркестр; ну, признаюсь, прелесть что за музыка! Бывало, дает ли бал дворянство – где взять музыкантов? у Захара Иваныча! Именины ли у городничего, у предводителя... или приедут в город комедианты – опять-таки к Захару Иванычу... и самолюбию, знаете, льстило. С другой стороны, быть первым в околотке – также недурно! Да в доме ткались ковры, мальчишки-то, музыканты мои, как выросли, так наделали таких хлопот, что хоть вон беги. Я оркестр побоку.

– Следовательно, страсть, в которой вы хотели повиниться, была не к музыке?

– Какая тут музыка! – отвечал сосед. – Бог

с нею; стоит она, чтоб порядочные люди имели к ней страсть; нет, батюшка, не к музыке, а к собачкам (Захар Иваныч щелкнул языком и в то же время пальцами); вот к ним-то, голубушкам, у меня, признаться, такая страстишка, что хоть умирай. Да что с вами говорить: ведь вы и не поймете.

– Почему ж? я сам люблю охоту.

– Не знаю я разве, как ваша братья охотятся: небось по-аглицки, на бекасинов да на всякую мелочь; с ружейцем – тибо, да адрет! (Земляк скорчил прежалкую физиономию.) Был у меня приятель, – продолжал он, – такой же франт, как вы; вот раз он и говорит мне: попробуй, брат, так и слюбится; я и послушал – что ж вышло? протаскал он меня только что не целые сутки по такому болоту, что я и сапоги-то там оставил, а в довершение всего, бог его знает, принял ли он меня за бекаси или за какую другую птицу, только и до сей минуты я по его милости ношу с ползаряда мелкой дроби в левом боку... и это вы называете охотиться? Хороша охота, нечего сказать! Нет, сударь, по-нашенски, как снимут хлеб да запахнет на дворе русаком, чуть зоричка – на-

кормишь собак до оседлаешь коней, выпьешь чарку водки да и марш в отъезжее месяца на три... вот это охота!

Глаза земляка разгорелись как уголья и щеки запылали. И чего бы не дал Захар Иванович в эту минуту за свои родные поля, за пеструю стаю гончих и за серый денек нашей русской осени!

– Надоел я вам, почтеннейший? – спросил меня после некоторого молчания сосед.

– Не только не надоели, но я слушаю вас тем с большим удовольствием, что сам страстно люблю всякого рода охоту, преимущественно псовую.

– Вы страстно любите, вы? – воскликнул с восторгом Захар Иванович, – не может быть!

– Уверяю вас.

– Так вы постигаете то наслаждение, которое чувствуешь, когда после долгого ожидания вдруг где-нибудь в большом острову отзовется сначала одна гончая, а за ней закипит и зальется вся стая, и ты сломя голову скачешь на перелаз и видишь, как крадется косою по опушке, – вот выскочил на поляну, выставил ухо и слушает, а стая на хвосту; «шалишь,

брат, не высидишь!» а борзые-то, борзые... Ну, понимаете ли теперь, почему я женюсь?

– Нет, не понимаю.

Захар Иваныч встал с постели, подошел к дверям, заглянул в коридор и, возвратясь на прежнее место, уселся так близко ко мне, что я должен был отодвинуться.

– У нее, сударь мой, триста пятьдесят душ родовых да чистоганчиком наберется тыщенок около сотенки, в то время как у меня фу, фу, фу! Вот что-с! – прибавил земляк, взявшись за бока и раскачиваясь на стуле.

Слушая его, я стал понимать еще меньше. Девушке с независимым состоянием, красотой и молодостью решиться избрать человека, подобного Захару Иванычу, казалось мне не только сумасшествием, но даже делом непостижимым. За что же такое чудо совершается для Захара Иваныча, а не для другого, достойнейшего? за что же судьба, наделяя, к несчастью слишком редко, свои создания теми наружными совершенствами, которые отражались на нелживом дагерротипном портрете, и совершенствами, почти всегда соответствующими внутренним достоинствам, не

начертает избранным своим путей достойнейших? Неужели такое прекрасное создание пройдет жизнь незамеченным, неоцененным? Сколько людей заплатили бы кровью за счастье обладать подобным сокровищем! Многие бросили бы к стопам ее груды золота, разделили бы с ней и блестящие имена, и значение в свете, и почести! Нет, вопреки русской пословице, судьба хуже индейки, говорил я сам себе. Судьба – лотерея. Тут я невольно вспомнил о петербургском трактирном маркёре, выигравшем в польской лотерее девятьсот тысяч злотых. Маркёр сначала заболел от радости, а выздоровев, нанял в том же трактире грязную каюту и продолжал проводить все дни свои в бильярдной, считая очки не по обязанности, а из удовольствия. Вот то наслаждение, которое извлек маркёр из посланного ему судьбой сокровища!

– В половине сентября, – продолжал сосед, – окончится моей покойнице ровно полгода. До того времени мы полечимся на водах, а в октябре веселым пирком да и за свадебку.

– Вам лечиться на водах? Смотрите, Захар Иваныч, чтоб не случилось того, что в Тепли-

це.

– Кто вам говорит про меня! не мне, а ей, от затвердения что ли велели лекаря попить карлсбадской воды.

– Вашей невесте? – спросил я.

– Ну да, невесте.

– И она будет сюда?

– Разве на возвратном пути, теперь же самое время лечения, и вряд ли она выедет из Карлсбада до половины августа.

– Но где же невеста ваша?

– Говорю вам: в Карлсбаде, – отвечал сосед, – тьфу какой рассеянный! Толкую ему тысячу раз одно и то же, а он думает себе о другом и удивляется, что ничего не слышит! Говорят вам, что она пробудет там до пятнадцатого августа; ну, понял ли? – сосед засмеялся.

– Не понимаю.

– Опять не понимаете?

– Конечно не понимаю, как вы можете таскаться по Теплицу и Дрездену, когда невеста ваша в Карлсбаде. Да я на вашем месте пешком бы побежал к ней... Ну, что вы тут делаете?

Захар Иваныч хохотал, продолжая качать-

ся на стуле, потом, как бы очнувшись, вдруг спросил меня: хочу ли ехать с ним вместе?

– Куда?

– В Карлсбад.

– Вы смеетесь?

– Нимало.

– А если б я согласился?

– Так едемте.

– Когда?

– Завтра.

– Вы меня дурачите, сосед.

– Ничуть! сейчас же посылаю прописать паспорт, расплачусь с Гайдуковым и к вашим услугам.

Если бы дело шло не о невесте Захара Ивановича, я бы, кажется, задушил его от радости; но, понимая, что изливание чувств моих могло только повредить моим планам, я просто изъявил согласие на желание соседа, представив, впрочем, предварительно с полдюжины пустых невозможностей.

Мы расстались в восхищении друг от друга. Он неоднократно заключал меня в свои жаркие объятия, смеялся и жал мне руку; я был по наружности холоден, зато в душе ра-

довался как ребенок.

Вся ночь прошла в самых заманчивых мечтах и сновидениях. Сколько раз в продолжение этой чудной ночи дагерротипный портрет красавицы, мгновенно оживляясь, начинал мне улыбаться! сколько раз, выходя из серых бумажных рамок портрета, невеста Захара Иваныча являлась предо мной во всей роскоши живого прелестного существа с глазами, полными страсти! я трепетно протягивал к ней руки и бил их немилосердно то об стену, то об дверь, просыпаясь же, переходил к рассуждениям, которые – увы! – клонились далеко не к спокойствию и не к счастью нового друга моего, Захара Иваныча.

Настало утро, и часу в восьмом я почувствовал, что кто-то коснулся моего плеча. Открываю глаза – предо мной горничная.

– Какой-то пожилой господин желает говорить с вами, – сказала она мне, показывая на дверь.

Я накинул на себя халат, соскочил с постели и приказал просить.

В комнату вошел чопорный старичок, белый как лунь, в широком фраке старинного

покроя, в белом галстухе с преобладающим жабо. Он на немецком языке извинился, что беспокоит меня так рано; но дело, о котором имел он переговорить со мной, было, по его мнению, так важно, что он мог позволить себе такого рода невежливость.

Я пододвинул гостю кресло и просил его сесть. Старик дождался выхода горничной, пристально посмотрел на меня и качал речь свою как с кафедры.

– Вы русский? – сказал он.

– Точно так.

– Вы благородный человек, а сделали ужасное дело, – проговорил старик.

Я посмотрел на него с удивлением.

– Да, ужасное, – повторил он, – и это дело, которое для вас, конечно, шутка, повергло в отчаяние честное и доброе семейство.

Любопытство мое дошло до высшей степени. Я хотел, по крайней мере узнать, в чем состоял поступок мой и кого привел в отчаяние, но старик не дал мне опомниться и продолжал:

– В отчаяние, говорю я, потому что глаза мои не смыкались с тех пор, а бедная жена не

переставала плакать?

Гость-оратор возвел и взор и руки свои к потолку.

– И вы уверены, что причиной всех этих несчастий – я? – спросил я.

– Уверен ли? – повторил старик, – зачем же было бы мне приходиться сюда?... К тому же он никогда не лгал, мое бедное дитя.

– Ваше дитя?

– Да, мой сын, единственный сын, моя надежда, мое утешение, или, точнее, наше утешение, потому что у него есть и мать, нежная мать.

– Позвольте, однако же, спросить, с кем я имею честь говорить в эту минуту? – перебил я, вставая.

Я был уверен, что гость мой ошибся дверью, и драма начинала мне надоедать.

– Я Христиан Зельфер, – отвечал старик.

– Как? отец Александра-Фридриха Зельфера?

– К несчастью, да!

– Я видел сына вашего вчера.

– Его привезли ко мне от вас в отчаянном положении: он был пьян.

– От нескольких стаканов шампанского! – воскликнул я с удивлением.

– От нескольких стаканов?! – повторил с ужасом старик, – и в дитя мое влили несколько стаканов?

– Не влили, а он выпил их с одним из моих соотечественников.

– С извергом, с злодеем, с искусителем, с развратителем юношей, существ неопытных! и вы говорите об этом, милостивый государь, с таким убийственным хладнокровием? и вы смотрите на все это равнодушно?

Старик заплакал.

Как ни забавно-странны казались мне в эту минуту саксонские патриархальные нравы, тем не менее старик заслуживал полного участия, потому что слова и слезы его были искренни; а чувствуя то, что говорил, он не мог не страдать ужасно: он привык видеть в единственном, сорокапятилетнем сыне послушного и невинного юношу, и потому первая шалость, первый проступок этого сына должны были несомненно поразить как ум, так и сердце родителя. Я употребил все средства, чтобы успокоить старого Зельфера: уве-

рял его, что случай этот не может иметь для детища его никаких дурных последствий, что приятель мой не только не имел намерения сделать дурное дело, а, видя в первый раз молодого человека, хотел, по русскому обычаю, угостить его.

– Но вы не знаете главного моего несчастья, – перебил дрожащим голосом старик, – вы не знаете, что Александр, который, как я уже вам сказал, никогда не лжет, сознался мне, отцу, что ему понравилось шампанское и что опьянение очень приятное чувство; он прибавил – представьте себе! – что вряд ли откажется и в другой раз от подобной проделки, и во всем этом признается сын мой чистосердечно! Послал же на меня бог такое несчастье!

Старик снова залился слезами.

Я не имел еще времени ничего придумать для успокоения Зельфера, как дверь из коридора распахнулась и на пороге показалась монументальная фигура Захара Иваныча. Он был в своем ситцевом халате, в торжковских шитых золотом сапогах и в голубой полубархатной, обделанной бисером шапочке; в ру-

ках держал он один из знакомых мне жасминных чубуков с перышком. При появлении Захара Иваныча старый Зельфер утер поспешно глаза, медленно привстал и поклонился. Земляк отвечал на поклон легким наклонением головы и спросил у меня прегромко, кто этот антик. Я назвал гостя, надеясь, однако же, что земляк не вспомнит сына и избавит тем меня от возобновления драмы, но не тут-то было: едва я произнес имя старика, как лицо Захара Иваныча оживилось радостью.

– Ба! – закричал он, – уж не отец ли этот вчерашнего?...

И, не дав мне произнести ни одного слова, сосед обратился к старику.

– Ир зон тринкен гут, зер гут![6] – сказал Захар Иваныч, трепля гостя по плечу.

Зельфер сначала не совсем понял, но сосед знаками и словами добился-таки того, что старик догадался, с кем имеет дело, и брови его начали сдвигаться.

Предвидя последствия несчастной встречи раздраженного отца с искусителем сына, я почел за лучшее предоставить им все поле сражения и вышел вон из комнаты, затворив за

собой дверь.

Прохаживаясь скорыми шагами по длинным коридорам гостиницы, я с беспокойством поглядывал в ту сторону, откуда, по мнению моему, должен был или раздасться крик, или появиться один из гостей моих. Прошло с четверть часа, но крику не раздавалось и никто не появлялся. Я подозвал горничную и просил ее взглянуть, что делается в моем номере; возвратясь, она объявила, что толстый русский объясняет что-то старику немцу и оба смеются. Не поверив горничной, я сам пошел, желая лично удостовериться в справедливости слов ее: действительно, я застал обоих в самом веселом расположении духа; сосед махал руками и, примешивая к цельным русским фразам немецкие слова, рассказывал что-то Зельферу на таком наречии, которое определить было крайне трудно; в свою очередь старик мерными наклонами головы показывал, что понимает, и улыбался. «Что за чудо?» – подумал я и стал вслушиваться: речь шла о преимуществе малороссийских сукон перед английскими.

– Друг ваш прелюбезный и превеселый че-

ловек, – сказал мне старик, когда земляк кончил свой рассказ. – Объясните ему, пожалуйста, по-русски, что я ему крайне обязан.

Я посмотрел на Зельфера с удивлением.

– Каким чудом превратили вы, соседка, родительский гнев в благодарность? – спросил я у земляка.

– Какой гнев?

Вместо ответа я передал соседу со всеми подробностями предыдущую сцену мою со стариком.

– Да ведь и мне, почтеннейший, крайне досаден этот случай, – сказал земляк, – знай я только, что сын его не пьет вина, стал ли бы я настаивать, господь с ним; да кому же, посудите сами, войдет в голову, что есть на свете такая страна, в которой пятидесятилетних малых водят на помочах и только что не кормят грудью. Забавно, в самом деле! не смей и поднести рюмки вина такому дитяти... Ай да народец! Впрочем, это ничего.

– Как ничего?

– Ничего, – повторил Захар Иваныч, – я научил старика самому простому средству предохранить дитяtko от пьянства.

– А в чем состоит этот способ?

– В совершенных пустяках, в таком вздоре, что, право, смешно: надобно взять рюмку водки или вина и впустить в нее три капли крови слепого котенка.

– Что? – спросил я, принимая слова соседа за шутку.

– Надобно взять рюмку водки или вина, – повторил серьезно сосед, – и, впусая в нее три капли крови слепого котенка, дать выпить.

– И этот способ успокоил старика?

– Совершенно. Да как же иначе? я, по крайней мере, никогда другого средства не употреблял с пьяницами.

– Ваш способ удавался вам?

– То есть как вам сказать, не то чтобы каждый раз, а удавался-таки!

Не желая поселить сомнения в отце юного Зельфера, Захар Иваныч произнес последние слова вполголоса, и как ни нелеп был способ земляка, но способ этот уничтожил до основания все беспокойства в сердце нежного родителя Александра-Фридриха, следовательно, и возвратил семейству его утраченное им счастье. Старик просидел у меня с полчаса, рас-

стался с нами как с друзьями, а мы с соседом принялись за укладку наших чемоданов и за все приготовления к отъезду в Карлсбад.

Решившись отправиться из Дрездена с вечерним поездом по железной дороге, мы заказали обед к трем часам и пригласили разделить его с нами Степана Степаныча Выдрова.

Все утро прошло в хлопотах, а в три часа я вошел в столовую; в ней ожидала меня новая сцена, нимало, впрочем, не похожая на утреннюю. У накрытого стола смиренно сидел бледный, желтый и трепещущий как лист Выдров. Захар же Иваныч расхаживал по зале с такою скоростью, в таком гневе и с таким багровым лицом, какого я еще не видывал на соседе. У окна стоял Гайдуков, а поодаль от Гайдукова вся мужская и женская прислуга гостиницы.

– Что это с вами? – спросил я с беспокойством у соседа.

– Разбой и больше ничего! – отвечал, продолжая ходить, Захар Иваныч.

– Но объясните наконец, в чем дело?

– А вот, взгляните-ка на счет, – сказал Захар Иваныч, передавая мне предлинный ку-

сок бумаги, исписанный очень мелко.

– Сорок три талера в три дня, это много! – сказал я, взглянув на итог.

– Обыкновенная цена всему, поверьте, – заметил униженно Гайдуков.

– Дело не в сорока трех талерах и не в цене, – перебил, пыхтя, Захар Иваныч, – кому какое дело до того, что я много истратил или мало! а курьезно заплатить за ночлег Трушки по два талера в сутки, и за стол его столько же... вот что курьезно так курьезно!

– Как за ночлег? – воскликнул я.

– Так взгляните на счет: ну, видите: 27-го за номер, то есть мой, полтора талера, за номер слуги два и селедка, селедка, селедка и раки ему же-полтора талера; 28-го за мой номер полтора, за номер слуги два талера, селедка, селедка, селедка и раки – полтора; 29-го за мой номер полтора, за номер слуги два, селедка, селедка, селедка и раки – полтора; 30-го... сегодня ночлега, правда, не было, зато была селедка, селедка, то есть прибавь еще селедку и раки, – и опять полтора... каково? – спросил сосед, бросая счет на пол. – Ну, я у вас спрашиваю, каково?

– Помилуйте, моя ли вина, ежели вам угодно было поместить слугу вашего в большом номере, что противу лестницы? – сказал Гайдуков.

– И ты смеешь еще оправдываться?

– Я не оправдываюсь, а только докладываю вам, что в первую ночь он приказал именем вашим пустить его в пустой номер, а номер ходит по два талера в сутки, всем известно, – прибавил Гайдуков, показывая на прислугу, – что же касается до кушанья, так это была ваша воля и вы лично изволили мне приказать отпускать ему преимущественно русские кушанья, а коли так, то что же может быть лучше, как не селедочка-с и раки.

Последние слова произнес Гайдуков шуточным тоном.

Я невольно вспомнил полуночный разговор соседа моего с Трушкой и чуть не лопнул со смеху. Гайдуков был не совсем не прав, потому что я действительно слышал, как Трушка изъяснял барину о своем намерении попроситься в пустой номер, на что Захар Иванович хотя и не отвечал утвердительно, но и не

сказал «нет»; полагаю, что и земляк припомнил это обстоятельство, потому что, не отвечая на объяснение Гайдукова, он с сердцем вынул из кармана длинный кожаный мешок, достал из него горсть золотых монет и отсчитал сколько следовало по счету.

Гайдуков взял золото и пустился было любезничать, но Захар Иваныч топнул ногой и указал на дверь.

Почтенный хозяин гостиницы не заставил повторить немого приказания и вышел из столовой, склонив почтительно голову перед справедливым гневом грозного земляка.

Захар Иваныч предложил своего Трушку в сопутники Выдрову, который, пользуясь благоприятными обстоятельствами, не отказался, но упомянул о дорожных издержках на возвратном пути, оценивая их приблизительно во сто пятьдесят франков, на что сосед отвечал восьмью золотыми, и тем кончился прощальный обед наш в Дрездене.

В пять часов пополудни кондуктор железной дороги протрубил сигнал к отъезду, и мы покатали в Лейпциг. В продолжение всего переезда Захар Иваныч, находясь еще под влия-

нием гайдуковского счета, не промолвил ни одного слова; мы переночевали в лучшей гостинице, а на другой день я показал земляку все, что было замечательного в городе. Между прочим, в Лейпциге есть сад, чрез который протекает Эльстер. В этой речке, как всем известно, утонул граф Понятовский, которого седло, стремя и шпоры показывают посетителям за два цванцигера с особы; дети не старше десяти лет платят половину. Захар Иваныч кстати заметил, что подобные редкости родители должны были бы показывать детям своим прежде, чем они достигнут десятилетнего возраста.

От Лейпцига до Цвиккау мы проехали по железной дороге, а в этом городке наняли почтовую коляску и отправились прямо в Карлсбад. Дорога эта очаровательна: то изви-вается она вдоль каменного берега живописного ручья, то, взбегая на зеленый холм, пробирается между высоких серебристых тополей и, коснувшись крыльца гостеприимной фермы, уклоняется в сторону и снова прячется в чаще виноградных лоз. На каждом шагу новая картина представляется взорам проезжа-

ющего.

Из всех этих мест замечательнее прочих высокая и крутая гора Шнееберг. Отвесную высоту ее определяют семью тысячами футов.

Подъехав к таможне, мы остановились; я вручил везшему нас немцу наши паспорта и приказал вынуть из коляски чемодан.

– А вы разве непременно хотите, чтобы их осматривали? – спросил почтарь.

– Нимало не хочу, но думаю, что это необходимо.

– Необходимо? полноте, – продолжал, смеясь, почтарь, – дайте по два цванцигера – вот и все.

Я последовал совету опытного немца и вручил ему требуемую им сумму, которую он преспокойно понес в заставный дом.

По прошествии нескольких минут шлагбаум взвился; еще несколько часов езды, и карлсбадские трубы возвестили жителям этого города о нашем прибытии.

Карлсбад построен в глубоком ущелье, опоясанном цепью гранитных скал, за скалами поднимаются к небу три крутые горы, покрытые сосновым лесом. Карлсбад обязан су-

ществованием своим оленю. Вот что повествует о том легенда: в XIV столетии император Карл IV, охотясь в дремучем лесу, напал на огромного оленя; измученное долгим преследованием собак, бедное животное бросилось с высокого каменного утеса в бездну и исчезло. Сбитая дерзким прыжком оленя, стая затеряла след и остановилась. Император приказал отыскать пропавшего зверя, и после долгих и тщетных розысков оленя нашли сваренным в горячем ключе, о существовании которого до той минуты никто не имел никакого понятия. Впоследствии император лишился употребления ног; врачи его вспомнили о ключе, и первый опыт кипучих вод его исцелил Карла. Ключ назван Шпруделем,[7] а утес, с которого соскочил несчастный олень, и до сих пор зовется Гиршен-шпрунг.[8] Все же прочие карлсбадские ключи суть не что иное, как дети Шпруделя.

Речка Тепель, изобилующая форелью, разделяет город на две части; правый берег реки, названный Визою, служит гуляньем аристократическому карлсбадскому обществу; дома, большею частию построенные для летнего

времени, высоки, красивы и все без исключения украшены преобладающими вывесками, одна другой замысловатее, как-то: «Синяя щука», «Золотое руно», «Ласточки», «Воробьи», «Вильгельм» и т. п. Мы поместились под гостеприимными крыльями «Белого лебедя». Хозяин дома, честный и добрый старик, игольный мастер и в то же время капитан гражданской гвардии, встретил нас с распростертыми объятиями. В доме его я провел всю прошедшую весну. Он предложил мне мою прежнюю квартиру, обращенную окнами на Визу и мост, а земляку отвел три комнаты в одном со мной этаже.

Пока я разбираю чемодан, Захар Иванович успел не только познакомиться с капитаном-игольщиком, но даже приучил его понимать себя.

На вопрос, намерен ли земляк идти к своей невесте, он отвечал, что не знает адреса, а если бы и знал, то не пошел бы до завтрашнего утра. Чем короче я знакомился с моим единомышленником, тем менее удивляли меня его выходы, а потому я ограничился советом поручить хозяину справиться о месте ее житель-

ства.

Захар Иваныч вытребовал лист бумаги и нацарапал на нем крупными и кривыми буквами: девица Анна Фадеевна Трущобова, дочь губернского секретаря. Я перевел адрес на немецкий язык и вручил его капитану, прося не замедлить исполнением поручения.

Как мало согласовалось имя с красотой моей знакомой незнакомки! И думала ли она в эту минуту, что я, посторонний человек, взглянув случайно на портрет ее, прискакал в Карлсбад единственно для того, чтобы взглянуть на прелестный оригинал портрета? чувствует ли она, что все мысли мои стремятся к ней и сон давно бежал от глаза? И люди смеют уверять, что красота отдельно от всех прочих достоинств не может внушать страсти! Как же назвать то чувство, которое заставляет ездить из Дрездена в Карлсбад без всяких затвердений в печени, почках, селезенке, и притом в сообществе Захара Иваныча? как же назвать то чувство, которое возбуждается дагерротипным портретом? как же назвать его, повторяю я, как не любовью, не страстью?

Земляк лег заснуть, а я умылся, оделся и пошел на Визу. На ней толпилась куча гуляющих; у самого берега Тепеля вокруг столов сидело множество дам; около каждой из них жужжал целый рой кавалеров; одни любезничали, другие смеялись, а я вспомнил прошлое, и мне стало грустно! С чем может сравниться то чувство, которое ощущаем мы при встрече нашей с знакомыми местами? Как красноречиво пересказывают нам наше прошлое безмолвные стены домов, где жилали некогда друзья или женщины, нами любимые, где протекло несколько лет беспечной юности, – то же чувство ощущал я, идя вдоль Визы: давно ли, кажется, такая-то дверь отворялась передо мной ежедневно, в такой-то лавке покупался всякий вздор, а на такой-то скамейке, просиживая по целым вечерам, мечтали мы о несбыточном! сколько вздохов слышала эта самая Виза... и все прошло, и прошло невозвратно!

Прохаживаясь в подвижной массе незнакомых лиц, я набрел наконец на жидовскую фигурку Боргиуса, преплохого врача, посещавшего меня некогда по нескольку раз в

сутки.

– Herr Graf![9] – воскликнул он, завидев меня.

Г. Боргиус называл всех пациентов своих графами.

– Откуда? давно ли? надолго ли? – кричал он, сжимая крепко мои руки.

– Из Дрездена, сегодня и на несколько суток, – отвечал я врачу.

– Но как вы пополнили, поздоровели!

– Право?

– Узнать нельзя!

И Боргиус засыпал меня новыми вопросами, на которые я не успевал отвечать.

– Что же у вас поделывается? – спросил я в свою очередь.

– Все благополучно и идет своим порядком, – отвечал врач.

– Каково здоровье того бедного австрийского графа, которого я, помнится, оставил едва живым?

– Граф умер в то же лето.

– Жаль! Ну, а барыня с известковым лицом?

– И барыня умерла.

– Также умерла? и барыню жаль. Скажите же мне по крайней мере, доктор, здравствует ли тот забавный старичок, что заставлял мальчишек бегать на приз?

– Но он лечился не у меня.

– Все равно! Мне любопытно знать, где он и что с ним?

– Здоров совершенно и по-прежнему проказит. Нынешний год, – продолжал он, – у нас множество приезжих, и дня не проходит без бала или праздника.

– А русских много?

– Нельзя сказать. Впрочем, если хотите, я назову вам некоторых.

– Сделайте одолжение! Сердце мое заби-лось сильнее.

– Во-первых, – продолжал Боргиус, – старуха-графиня N с двумя дочерьми и сыном; у графини пухнут ноги; дочери хорошенькие. Потом, тот седой барин, который, помните, любил, чтобы его называли генералом.

– Как не помнить!

– Еще два брата... фамилия мудреная... богатые люди, у одного завал в печени: он пьет воды; другой пьет водку.

- Еще же кто, доктор?
- Еще, – повторил Боргиус, – несколько русских, которых не знаю, и недавно приехавшая из Дрездена молоденькая дама.
- Девушка? – спросил я.
- А уж не знаю, девушка или дама, но прехорошенькая.
- Фамилии не помните?
- Слышал, слышал, даже читал в листке, но запомнить никак не мог.
- Не Трущобова ли?
- Может быть.
- И вы говорите, что она приехала одна?
- Вероятно, с горничной.
- Кто ее лечит?
- Некто Вульф, прусак.
- Не знаете ли по крайней мере ее собственного имени?
- Нет, не знаю.
- Вы несносный человек, доктор!
- Помилуйте, мог ли я знать, что дама эта вас интересует, – отвечал, смеясь, Боргиус, – к завтраму обещаю расспросить обо всем подробно и сообщить вам на утренней прогулке.

Разговаривая с врачом, я незаметно прошел всю Визу и очутился на дороге, ведущей в Постгоф; влево от нас струился Тепель; вправо подымалась гора, обложенная у подошвы рядом камней с различными надписями. Общий смысл их состоял в благодарности Карлсбаду за излечение от болезней. Каждый раз, как Боргиус снимал шляпу или останавливался, я невольно вздрагивал; в числе знакомых Боргиуса встречались шляпки, и тогда биение сердца моего усиливалось: под каждой из них я искал черты дагерротипного портрета!

В Постгофе я предложил медику чашку кофе и приказал приготовить его на одном из столов, стоявших в саду. С этой точки видны были все лица гуляющих. Постгофом называется загородная гостиница, отстоящая от Карлсбада на расстоянии немецкой полумили. Дорога, соединяющая эти два пункта, пролегает частью по самому берегу Тепеля, частью по долине, лежащей между живописных холмов, покрытых лесом, извилистыми дорожками и павильонами. По известным дням у Постгофской гостиницы играет музы-



ка и сад наполняется множеством людей всех сословий и возрастов; в день же моего приезда музыки в Постгофе не было, и лишь изредка показывалось кое-где несколько гуляющих. Начинало смеркаться, когда Боргиус вдруг толкнул меня локтем и указал на одну из проходивших мимо нас дам.

– Вот она, – шепнул он мне.

Я оглянулся, но лица ее уже не было видно.

Бросив на стол мелкую монету, я в сопровождении врача отправился догонять незнакомку. На ней было шелковое железного цвета платье с пелеринкою такого же цвета и соломенная шляпка. Поравнявшись с дамою, я повернулся в ее сторону; хотя нижняя часть лица была закрыта зонтиком, но глаза, глаза принадлежали портрету: я узнал их потому, что сердце мое судорожно сжалось; оглянуться вторично я не имел духу.

Проходя скорыми шагами вдоль реки, я не замечал ни несчастного Боргиуса, бежавшего со мной рядом, ни темных туч, бежавших к нам навстречу, как вдруг крупная капля воды упала мне на нос, а за нею прыснул такой дождь, что по прошествии нескольких минут не осталось на нас ни одной сухой нитки. Я прибежал домой, переменял платье и отворил окно.

Туча промчалась; догоравшее солнце заблистало на металлических шпицах церкви и отразилось пламенем в окнах высоких домов. Недавно опустелая Виза начала снова наполняться гуляющими.

Смотря на все это, я невольно предался са-

мым поэтическим мечтам и предпочитал магнитический взгляд встреченной мной дамы бесцветным глазам дагерротипа; я думал уже не о портрете, а о самой Анне, – о ручке Анны, о талии Анны и о всех движениях ее гибкого стана.

– А вот и адрес, – раздалось у моего уха, и мне предстал Захар Иваныч. – Спасибо господину капитану-игольщику, – продолжал сосед, – место жительства открыто, и представьте себе, почтеннейший, что в пяти шагах отсюда.

– И вы нейдете? – спросил я.

– А как вы думаете, сходить надобно?

– Надеюсь.

– Не хочется одеваться, – сказал, потягиваясь, земляк.

Я пожал плечами и отвернулся. Захар Иваныч становился невыносим.

– Разве сходить? – повторил он, – как вы думаете?

– Я думаю, Захар Иваныч, что на вашем месте я не позволил бы себе войти ни под какую крышу прежде, чем не узнал бы лично о здоровье той женщины, которая готовится соста-

вить ваше счастье. Вот мое мнение.

Земляк вздохнул, зевнул и лениво потащился в свои комнаты; а я вздохнул еще глубже и остался один. «По совести, – думал я, – ну, стоит ли он, чтобы хорошенькая ручка Анны касалась его медвежьей лапы и чтобы сама Анна... страшно вымолвить... принадлежала ему!»

Вплоть до ночи просидела у меня толстая супруга моего хозяина, она взяла одеяло и рассказывала что-то, я слушал хозяйку и не слышал из рассказа ее ни полслова. Часу в двенадцатом мы расстались, и я лег в постель. Вписав в путевую тетрадь все происшествия и впечатления последних трех дней, я хотел было потушить свечу, как дверь отворилась и появился Захар Иваныч; на нем был сизого цвета сюртук, пестрый жилет и коричневые панталоны; лицо его было красно и мокро.

– Ну, что новенького? – спросил я, усаживая соседа на стул.

– Уф, как утомился! Дайте дух перевести, – отвечал он, расстегивая жилет, – проклятая лестница: ступень будет с полтораэта, да

здесь не дома, а голубятни.

– Невесту видели?

– Как же! видел слегка.

– Как слегка?

– Измочилась до костей, простуда, должно быть, сильно кашляет и жар.

– Следовательно, она гуляла в этот дождь?

– Дождь застал ее в версте отсюда. Ба! чуть не забыл! ведь вы, почтеннейший, ее встретили.

– Кто вам сказал, Захар Иваныч?

– Она сама; этого мало: она узнала вас, то есть когда я рассказал ей, что мы приехали вместе; ну, бранил, разумеется, говорил: урод, маленький, низенький, горбатый (земляк расхохотался); словом сказать, только я кончил описание, как Анята и говорит мне, что повстречала вас вдвоем с одним из здешних докторов, ведь правда?

– Действительно, я прогуливался с доктором Боргиусом. Когда же вы, Захар Иваныч, представите меня вашей невесте?

– Когда хотите: всегда рад.

– А рады, так завтра.

– С удовольствием. Анята просила меня об

этом; она, знаете, добрая такая, у нее вам будет не скучно, а короче познакомитесь, будете вместе гулять, иногда вечерком и преферансик составим, а?

Никогда еще сосед не казался мне таким добрым человеком, как в эту минуту. Картина будущей жизни нашей в Карлсбаде была им описана так завлекательно, что, думая о ней, я не мог заснуть до четырех часов утра. В шестом же весь Карлсбад подымается обыкновенно на ноги и больные расходятся по источникам.

Большая половина общества осуждена пить из Терезиенбруна, которого воды несравненно прохладнее прочих ключей.

Ровно в шесть часов сошел я с лестницы и направил стопы к Шпруделю, ближайшему от меня источнику. Вкруг кипучего фонтана толпились бледные как тени полумертвецы обоего пола; с жадностью и кашлем глотали они кипяток и не ходили, а таскались вдоль деревянных галерей, окружавших источник. Ничто не может быть неприятнее этого живого кладбища, этого сочетания болезней и музыки. Не останавливаясь ни на минуту, я по-

бежал к Терезиенбруну; тут характер картины совершенно изменился: за исключением малого числа полубольных, все то что проезжает чрез Карлсбад, поставляет себе в непрерывную обязанность являться на утреннее Терезиенбрунское гулянье. Редко встречаете вы на нем серьезные лица, общий говор и громкий хохот прерываются изредка завлекательной полькой или галопом Лабицкого.

Глаза мои искали Боргиуса, но Боргиуса не было. Поместясь у одной из колонн павильона, построенного над самым ключом, я устремил все внимание на единственный вход в сад; кругом меня теснилось множество кавалеров и дам, ожидавших своей очереди со стаканами в руках. Тысячи немецких острот, одна другой площе, долетали до моего слуха; нередко французские и английские фразы менялись с немецкими, но ни одного русского слова я не слышал. Вдруг «Excusez, monsieur!» [10] произнес у плеча моего такой голос, от которого я невольно вздрогнул.

Странно, голоса этого я никогда не слышал; мимо меня проскользнула дама; я взглянул на шляпу и чуть не крикнул от радости: соло-

менную шляпку эту видел я вчера на Анне. С нею разговаривал мужчина лет сорока с густыми черными бакенбардами, и до меня долетело несколько слов.

– Aussi je vous dis, monsieur, que je me sens tres mal,[11] – сказала дама.

– Quelle imprudence! quelle imprudence![12] – повторил кавалер, качая головой.

В это время новый прилив толпы оттолкнул меня в сторону и помешал дослушать разговор, который начинал меня интересовать.

– Кто этот брюнет с черными бакенбардами? – спросил я у стоявшего подле меня господина.

– Что говорит с дамой в соломенной шляпке?

– Да, – отвечал я.

– Это доктор Вульф.

– А даму вы знаете?

– Нет, не знаю, но встречал не раз.

– Кто она, и какой нации?

– Мне говорили, что русская, – отвечал господин.

Поклонившись незнакомцу, я отошел от

павильона и, не спуская глаз с соломенной шляпки, начал ходить взад и вперед по широкой песчаной дорожке, пролегающей у самого источника.

Допив свой стакан, дама повернулась в мою сторону. Несмотря на расстояние, нас разделявшее, бледность лица ее поразила меня; я вспомнил ее разговор с доктором, и нетрудно было догадаться, что дело шло о какой-то неосторожности, в которой упрекал ее Вульф. «Неужели она серьезно больна?» – подумал я и чувствовал, что при одной этой мысли вся кровь застывала в моих жилах. Дама пошла к выходу, я побежал за ней; на лестнице из галереи на улицу даму остановила какая-то старуха; я прошел мимо и повернул направо; напрасно оглядывался я на каждом шагу, напрасно возвратился к источнику: ее не было нигде. Я вспомнил, что из галереи можно было выйти в противоположную сторону, выбрал мысленно старуху, разлучившую меня с моею Анною (я говорю *моею* потому, что, по мнению Трушки, что я, что Захар Иваныч – совершенно все равно), и, взбешенный, отправился домой. На первом пере-

крестке меня чуть не сшиб с ног бежавший Боргиус.

– Куда это вас?... – спросил я, хватаясь за него обеими руками.

– Бегу к Вульффу.

– Зачем?

– Затем, чтобы спросить имя русской дамы.

– Не нужно, – отвечал я, – вы опоздали.

– В таком случае бегу за самим Вульффом, – сказал Боргиус.

– На что он вам?

– У меня случилось маленькое несчастье.

– Что такое?

– Вздор, а все-таки лучше пригласить побольше медиков. Один из моих пациентов объелся третьего дня чего-то жирного, И у него сделались спазмы; я прописал рвотного – больному сделалось хуже, я повторил средство – смотрю, еще хуже.

– Как же вы вчера не сделали консилиума?

– Думал, пройдет.

– Бедный пациент!

– Право, думал, пройдет, – наивно повторил врач.

– Есть ли же по крайней мере надежда спасти его?

– Надежды нет никакой, правда, но знаете ли отчего?

– От дурного лечения, вероятно?

– Не от дурного лечения, потому что все доктора в мире прописывают от порчи желудка рвотное: это средство признано лучшим.

– Была ли же у больного порча желудка?

– Вот в том-то и сила, что нет, – сказал, смеясь, Боргиус, – а было воспаление в кишках, что далеко не все равно; и знай я, что у него воспаление, пустил бы кровь, дал бы каломелью, поставил бы пиявки, обложил бы припарками, и больной выздоровел бы непременно.

– Следовательно, почтеннейший доктор, все несчастье произошло от того только, что вы немножко ошиблись в болезни?

– Ну конечно, только, – отвечал Боргиус.

– По крайней мере, употребите же эти средства теперь.

– Куда! – отвечал врач, махая рукой, – к вечеру капуч: еле дышит и меня не узнает, плох совсем. Ну вы же как себя чувствуете? – при-

бавил он, улыбаясь, – полечиться не хотите?

– Нет, поверьте, доктор, и если бог привел выжить прошлую весну и со мной не сделали капут в Карлсбаде, то надеюсь прожить долго и без лечения.

– Тем хуже для нас, – заметил, смеясь, Боргиус.

– И для могильщиков, – отвечал я, также смеясь и пожимая руку доктора.

Он побежал за Вульфом, а я на свою квартиру. Захар Иваныч, по словам хозяина, вышел из дому за несколько минут до моего возвращения.

– Скажите мне, ради бога, неужели в самом деле толстый господин собирается жениться? – спросил, провожая меня, капитан-игольщик.

– Правда, – отвечал я, – и жениться на одной из самых прекрасных женщин!

– Какая глупость, какая глупость! – проговорил с негодованием честный немец и, прибавив: «Golt erbarme», [13] – возвратился к своим занятиям.

Хозяйка принесла мне шоколад, который я предложил ей разделить со мной.

Не слушая, как и прежде, словоохотливой капитанши, я беспрестанно посматривал на часы, в которых стрелка как бы назло почти не двигалась; минуты превратились для меня в века, а сосед не возвращался. Допив шоколад, хозяйка ушла. Наступил полдень; пробило два часа, три, четыре – сосед не приходил; я терял терпение и чуть не сходил с ума. Болезнь Анны не давала мне покою ни на одну минуту.

В Карлсбаде обедают рано; я забыл про обед и, не отходя от окна, пил холодную воду. В таком положении застали меня сумерки, застала ночь. В двенадцать часов раздался звонок; я бросился к двери; сердце меня не обмануло: за дверью стояла какая-то женщина с письмом в руках.

– Für den russischen Herrn,[14] – сказала она, передавая мне серый клочок бумажки.

Письмо заключало следующие строки:

«Почтеннейший! Анюта больна и горит как печь; я, возившись с ней, устал как собака. Бросьте фасоны и приходите к нам, пожалуйста.

Ваш Захар».

Внизу листа была приписка:

«Захватите с собой трубку, а то в квартире так воняет разными медицинскими специями, что мочи нет».

Конечно, никогда ни одно раздушенное послание красавицы не приводило в такой восторг ни одного влюбленного юношу, в какой привела меня безграмотная записка Захара Иваныча; я чуть не расцеловал ее, и, сунув талер в руку женщины, приказал ей показать мне дорогу.

Дом, в котором жила Анна, находился в нескольких шагах от моей квартиры; пройти это пространство и взбежать на высокую лестницу было делом нескольких минут; мы вошли в переднюю, из которой дверь вела в род залы, слабо освещенной. Захар Иваныч встретил меня с улыбкой благодарности на устах и с ногами без сапог. Он шепнул мне, что больная заснула, и, усевшись на диван, посадил меня рядом с собой.

– Ну, батюшка, наварило же каши вчерашнее гулянье. Представьте себе, что у нее было сделалась горячка; жар страшный, головокружение, тошнота и бог знает что.

– Как же можно было выходить сегодня утром! – воскликнул я невольно.

– Да, да, скажите пожалуйста, ведь придет же такая чушь в голову: доктор ужаснулся!

– Я сам был поражен бледностью Анны Фадеевны.

– Анюта говорила мне, что она вас видела.

При этих словах кровь снова хлынула к моему лицу.

«Если эта женщина замечает меня, – подумал я, – не значит ли это, что она мной интересуется, что я ей нравлюсь. Если же нравлюсь, бедный Захар Иваныч!»

И я готов уже был броситься обнимать, целовать и даже, прости меня бог, утешать его. О дружба!

Земляк прервал размышление мое вопросом, принес ли я трубку. Я извинился поспешностью явиться на его зов, и Захар Иваныч послал за нею ту самую женщину, которую посылал за мной.

Квартира Анны была похожа на все квартиры третьих этажей: довольно чистенькая, без всяких затей, с простенькою мебелью, с узкими зеркалами, с полами, выкрашенными

масляной краской, с кисейными драпировками и прекрасным видом из окон. По стенам висели в черных рамках гравированные портреты Шиллера, Гете, Лютера и других немецких знаменитостей; над самым же диваном в золотой раме повешена была какая-то картина, затянутая белой чистой кисеею.

– Это портрет Анюты, когда она еще была ребенком, – сказал Захар Иваныч, указывая на картину. – Она никогда с ним не расстаётся; впрочем, вы видели копию.

– То есть не копию, а оригинал, – прибавил я, нимало не любопытствуя узнать, какова была ребенком Анна Фадеевна.

В эту минуту в соседней комнате слышался слабый женский голос, земляк вскочил и на цыпочках пошел в спальню больной, а я, притаив дыхание, стал слушать.

– С кем вы разговаривали? – спросил тот же голос, но он был так хрипл, что я не узнал его.

«Бедная Анна, – подумал я, – как она сильно простудилась!»

Захар Иваныч отвечал, что разговаривал

со мной.

– Какой он добрый! поблагодарите его.

И тут начался разговор так тихо, что я не мог его расслышать; потом больная сказала: «Как можно! в комнате беспорядок, и мне совестно!» Я понял, что речь шла о том, чтобы пригласить меня в спальню. Отказ Анны прошел острым ножом по моему бедному сердцу, но добрый Захар Иваныч, по-видимому, настаивал, и мне даже показалось, что он переставлял какую-то мебель, передвигая стулья, а может быть и сундуки. Умирая от нетерпения, я не спускал глаз с дверей комнаты невесты; наконец – о радость! – дверь эта скрипнула и показавшийся сосед поманил меня пальцем; не веря своему благополучию, я нетвердым шагом переступил через порог, последнюю преграду, отделявшую меня от Анны. В спальне было темно: прелестные глаза больной не переносили света. Высмотрев ее постель, я почтительно поклонился; Анна протянула мне руку и слабым, хриплым голосом поблагодарила за дружбу мою к Захару Иванычу. Мне стало и совестно и стыдно: я чуть-чуть не сказал ей, что Захар Иваныч не

может быть моим другом по тысяче причин, что я ему оказываю приязнь единственно потому, что он жених той, которую я... и проч. и проч.

– Присядьте-ка без церемоний, почтеннейший, – сказал земляк, подвигая стул к ногам больной.

– Но, может быть, я буду беспокоить!

– О нет, пожалуйста, садитесь, – перебила Анна, – я очень рада вашему приходу; мне несколько легче, и мы поговорим.

– Этого мало, – перебил Захар Иваныч, – я возился целый день, а он свежехонек: так не угодно ли ему без фасонов заступить мое место и давать лекарство, а я пойду в гостиную да отдохну маленько. Так ли?

Больная хотела возражать, но я решительно объявил, что отказ с ее стороны почту оскорблением, и принял из рук земляка стклянку с микстурой; выпроводив его из спальни, я остался один у постели очаровательной Анны.

– Вы не в первый раз в Карлсбаде? – спросила она.

– Нет, сударыня, я провел здесь прошлую

весну.

– Да, Вульф говорил мне, что встречал вас очень часто с прекрасной дамой... вы были не одни.

Анна ревновала, тем лучше; на вопрос ее я отвечал со всей возможной неясностью.

– А мы с Вульфом много говорили о вас сегодня утром, – сказала больная.

– Право? – отвечал я, не зная, что сказать.

– Да и не только с ним, но и с одной дамой, которая также крайне вами интересуется.

– Не на лестнице ли?

– Вы это заметили?

– Я видел, что вы разговаривали с кем-то, и прошел мимо.

Я вспомнил, что Анну остановила какая-то старуха, – и переменял разговор.

– Я почти обвиняю себя в нездоровье вашем.

– Как это?

– Вчера вечером, хотя я и не имел чести еще быть вам представленным, но, предвидя дождь, я должен бы был предупредить последствия, предлагаю вам возвратиться в Постгоф.

– Это было бы очень любезно с вашей стороны, но вы не могли узнать меня, – сказала Анна.

– Я видел дагерротип ваш, сударыня.

– У Захара Иваныча? Но он больше похож на мой портрет, нежели на меня: время и болезнь – эти два врага женщин...

– Я узнал вас, и этого достаточно, чтобы оправдать сходство дагерротипного изображения с оригиналом. Впрочем, тип Рубенса не в моде, – прибавил я, – и пурпур не входит более в состав красок для кисти художников нашего века.

– Если это так, – заметила, смеясь, больная, – то я очень счастлива, что здесь темно и вы меня не видите.

– Почему же?

– Потому что лицо мое горит и я должна быть пурпуровая; дайте мне руку, – продолжала она и приложила трепещущую руку мою к своим щекам.

– У вас жар.

– Да, но только в голове, а ноги холодны как лед...

– В таком случае их непременно должно

согреть.

– Чем же? – спросила Анна.

– Трением, сударыня.

– Но мне совестно потревожить старуху: она, верно, спит.

...Через несколько минут в соседней комнате раздался храп; Захар Иванович спал как убитый.

– Вас не может не беспокоить эта музыка, – сказал я, улыбаясь.

– Что ж делать! – отвечала Анна.

– Как что?

И, выскочив из залы, я растолкал жениха. Захар Иванович вскочил, впросонках протер себе глаза кулаком и изъявил желание знать, где он, что с ним и зачем его будят.

– Затем, чтобы не тревожить больную.

– Да, да, я было и забыл... так как же быть? – проговорил сосед, – ежели вы меня, почтеннейший, оставите хоть на одну минуту, я опять захраплю.

– Хоть на все тоны, только, пожалуйста, в своей постели.

– Стало быть, вы полагаете, что мне можно уйти?

– И можно и должно.

– А кто ж останется при Анюте?

– Останусь я, пожалуй.

– В таком случае спасибо и прощайте, – сказал с радостью земляк, подбирая сапоги.

Захар Иваныч надел картуз и, не заходя к больной, побрел ощупью вниз по лестнице.

При удалении его я был так счастлив, как может только быть счастлив смертный.

Возвратясь в спальню и подав лекарства Анне, я предложил ей заснуть, сам же, заменив кресло скамейкой, поместился поближе.

– Как мне хорошо! – шепнула Анна, протягивая мне уже не одну, а обе ручки. – Какую ужасную ночь провела бы я без вас, – прибавила она голосом менее хриплым.

– Но чувствуете ли вы себя лучше?

– О, несравненно лучше! вот доказательство! – она снова взяла мою руку и подложила себе под щеку. – Чувствуете ли вы, что жар уменьшается? – спросила Анна.

– Да, кажется, – проговорил я, передвигая скамейку к самому изголовью кровати.

Я чувствовал жаркое дыхание больной, лицо мое почти касалось ее лица, голова моя на-

чинала кружиться.

Больная положила левую ручку свою на мою голову.

Не описываю всего, что происходило во мне, потому что, вероятно, всякий в подобных обстоятельствах перечувствовал бы то же самое, что чувствовал и я.

– Анна! – проговорил я прерывающимся от волнения голосом, – не выздоровливайте так скоро, или я умру от отчаяния.

– Как это мило! вы очень любезны!

– Но здоровая вы не будете принадлежать мне, а эта ночь пройдет слишком скоро. Простите откровенность сердца и вспомните, что мы давно знакомы.

– То есть с сегодняшнего вечера. Вам время показалось очень долго, – прибавила Анна, смеясь.

– Нет, не с сегодняшнего вечера, а с той минуты, как я увидел случайно портрет ваш, Анна; я мысленно не разлучался с вами, портрет этот привел меня сюда.

– Повторяю вам, – отвечала, смеясь, больная, – что портрет несколько не похож на меня.

– Тем лучше, Анна, и я охотно изменяю ему для вас.

– Лекарство, дайте мне лекарство! – проговорила она, освобождая ручку свою из моих рук. – Способ ваш ухаживать за больными опаснее самой болезни, и если вы хотя немного меня любите...

– Люблю страстно!

– В таком случае вспомните, что я через несколько дней сделаюсь женою вашего друга.

– Я ненавижу его.

– Напрасно! он добрый человек.

– И вы его любите?

– Может быть.

– Не верю.

– Как хотите, но повторяю, что вы заставляете меня почти сожалеть об его отсутствии. Послушайте, – прибавила она серьезно, – несчастный портрет ввел вас в ужасное заблуждение. Я действительно была недурна, но в эту минуту от прежней красоты не осталось и следов. Принесите свечку и взгляните.

– Зачем?

– Разочаровывая вас, я поступаю с самоот-

вержением, потому что вы мне нравитесь. – Когда Анна произносила эти слова, голос ее звучал как-то грустно. – Вы сами отказались бы от меня завтра! – прибавила она.

– Никогда, никогда! – воскликнул я, целуя у ней руки.

И целый поток пламенных уверений отвечал на вздохи трепещущей Анны. Бедный, несчастный Захар Иваныч!

Едва первый луч солнца озарил таинственное ложе красавицы, едва очаровательные прелести ее сделались доступны моему восторженному взору, как я, схватив шляпу, как безумный, выбежал из дому пятидесятилетней Анны Фадеевны. Стыд и раскаяние сопровождали меня до квартиры моей и с квартиры до самой почтовой конторы.

Только на первой станции догадался я, что дагерротипный портрет был только портрет портрета Анны Фадеевны, а прекрасные глаза постгофской незнакомки – прекрасными глазами постгофской незнакомки, а не Анны Фадеевны. Проклиная самого себя, я гнал лошадей насмерть и наконец в пять часов домчался до Цвиккау. В шестом часу катился уже я

по железной дороге обратно в Дрезден. Вздыхнув в последний раз, и все-таки не по Анне Фадеевне, а по прекрасной карлсбадской даме, я нечаянно оглянулся, и первое лицо, на котором остановился взор мой, – была она!

ПРИМЕЧАНИЯ

Рассказ впервые опубликован в журнале «Современник» в 1851 году (№ 6).

Произведение подверглось довольно серьезному вмешательству цензуры. Наибольшие претензии вызвали эпизоды с участием принадлежащего Захару Иванычу крепостного, называемого им Трушкой. Даже самая эта кличка была последовательно заменена в печатном тексте на нейтральное «Трифон».

А. Д. Галахов отметил в годовом обзоре «Русская литература в 1851 году», что «Воспоминание о Захаре Иваныче» отличается «живостью и легкостью разговорного языка» (Отечественные записки, 1852, № 1, отд. 5, с. 14). Довольно высоко оценил это произведение Аполлон Григорьев, в дальнейшем прохладно относившийся к творчеству Вонлярлярского: «...Остроумный и бойкий рассказ, в котором основа совершенно ничтожна, но зато подробности очень хороши. Хорош и сам Захар Иваныч, и камердинер его Трифон и содержатель русской гостиницы в Дрездене, несчастный Гайдуков и, наконец, Александр

Фридрих Зельфер с отцом его Христианом Зельфером. Вероятно, все прочли уже прекрасный беллетристический рассказ г. Вонлярлярского и знакомы с этими упомянутыми нами лицами» (Москвитянин. 1851, № 15, с. 350, см. также вступит. статью к наст. изд., с. 9–10).

С. 293. ...*кульмское поле сражения*... – Кульм (ныне Хлумец, ЧССР) – деревня в Чехии, входившей в описываемое время в состав Австрийской империи. 17–18 (29–30) августа 1813 г. русские войска, прикрывавшие под командованием А. И. Остермана-Толстого отступление после Дрезденского сражения армии антинаполеоновской коалиции, разбили здесь преследовавших их французов.

Русский монумент – «за деревнею Кульмом, подле самой проезжей дороги, великолепный монумент Русский, воздвигнутый на том месте, на котором был ранен граф Остерман-Толстой» («Греч А. Н.» Русский путеводитель за границу. СПб., 1846, с. 137).

Теплиц – курортный город в Чехии; славился своими целебными горячими источниками.

С. 294. *Гайдуков* – реально существовавшее лицо. Вот что пишет о нем М. Н. Похвиснев, оказавшийся в Дрездене в 1847 году: «Этот Гайдуков великий плут и пройдоха. Он был крепостной человек и метрдотель г. Барышникова. Вероятно, бежал от него, скопил деньжонок, подбил к какой-то немке, которая ссудила деньгами, и открыл в Дрездене великолепную отель. Говорят, однако, что он затеял дело не по силам, запутался и близок к разорению» (Щукинский сборник, вып. 9. М., 1910, с. 426). Эти сведения близки к сообщаемому Вонлярлярским – лишнее доказательство того, что в основе «Воспоминания о Захаре Иваныче» лежат реальные впечатления.

С. 295. *Цвингер* – знаменитый дворцовый ансамбль начала XVIII в.

Фингляртер (Финдляртер) – расположенный на берегу Эльбы сад лорда Финдляртера.

Терраса – терраса Бриля (Брюля).

Японский дворец – памятник архитектуры XVIII в.; здесь хранились богатые коллекции монет, фарфора и т. д.

Королевский сад – «с великолепным дворцом и прекрасными статуями» (Греч Н. И., Пу-

тевые письма из Англии, Германии и Франции, ч. 2. СПб., 1839, с. 246).

Грюнговельбе («Зеленая кладовая») – помещавшееся в Цвингере собрание сокровищ и редкостей.

Музеум – находящийся в Цвингере исторический музей.

Саксонская Швейцария – северное предгорье Рудных гор в Саксонии (ныне территория ГДР).

С. 296. *Воксал* – общественное здание с залом для танцев и концертов.

С. 298. *Лон-лакей* – слуга, провожатый, нанимаемый приехавшим куда-либо путешественником.

Моро Жан Виктор (1761–1813) – талантливый французский полководец, ставший злейшим врагом Наполеона и приглашенный на русскую службу; смертельно ранен в Дрезденском, а не Лейпцигском, как указывает героиня Вонлярлярского, сражении,

С. 299. ...и куда дешево были они тогда. – В рукописи Захар Иваныч высказывается энергичнее: «... и куда дешево была эта дрянь тогда» (ГАСО, ф.1313, оп.2, ед. хр.5, л.8об.).

...после разорения... – т. е. после ухода наполеоновских войск из России в 1812 г.

«Что ж бы, кажется, стоило мне научиться...» – В рукописи фраза продолжалась: «...этим проклятым языкам» (ГАСО, ф.1313, оп.2, ед. хр.5, л.8 об.-9).

Немецкие разговоры с словарем... – обычное в то время название разговорника (ср., напр.: Новые немецкие и российские разговоры для начинающих. СПб., 1830; Ланген Я. Новейшие немецкие и российские разговоры. СПб., 1831).

С. 301. *На следующее утро...* – В этом месте в рукописи находился пространный (несколько страниц) эпизод, исключенный самим автором (вероятно, для освобождения от излишних длиннот). В нем описывались шутки дрезденских остряков над художницей-иностранкой, снимавшей в галерее копию с «Сикстинской мадонны» Рафаэля (ГАСО, ф.1313, оп.2, ед. хр.5, л.11 об.-14).

С. 303. *Вебер* Карл Мария фон (1786–1826), немецкий композитор, дирижер. С 1817 года до конца жизни был дирижером и руководителем дрезденского оперного театра, где по-

ставил свою оперу «Волшебный стрелок» (написана в 1820 г.).

Тихачек Иозеф (1807–1886) – знаменитый чешский тенор; с 1839 года ведущий солист Придворной оперы в Дрездене.

С. 305. ...*поставил два ремиза...* – т. е. отметил недобор двух взяток.

Алевузаны – вероятно, окказионализм, призванный означать плохие (которые следовало бы выбросить) карты в прикупе (от. фр. allez-vous en! – подите вон!).

Черивленные – покрытые темно-красной краской.

С. 306. *Дагерротипный* – сфотографированный на металлическую пластинку, покрытую слоем йодистого серебра. Дагерротипия была изобретена в 1839 году.

С. 307. *Приз* – в картежной игре: счетная единица, фишка.

С. 308. *Яргак* (ергак) – тулуп, доха.

Лукутинская табакерка – изготовленная на предприятии, принадлежавшем семье Лукутиных (подмосковное село Федоскино), лаковая табакерка из папье-маше с миниатюрной живописью.

С. 311. *Свищ* – здесь: пустой человек.

...*в доме ткались ковры...* – т. е. в доме было много крепостных женщин.

С. 312. *Тибо* (тубо)... *адрет!* – Команды охотничьей собаке.

В отъезжее – т. е. в отъезжее поле: на псовую охоту в отдаленных местах с выездом из дома на длительный срок.

Остров – здесь: отдельный лес, «особняк» (охотн.).

Перелаз – место перебега зверя из острова в остров (охот.).

С. 313...*в польской лотерее...* – Выигрыш в польской лотерее играет важную роль в сюжете романа Вонлярлярского «Сосед» (опубл. 1853).

Карлсбад – ныне Карлови-Вари (ЧССР).

С. 317. *Антик* – древность, археологическая находка (здесь в переносном значении).

С. 320. *Восемь золотых* – т. е. полуимпериалов, составляли 40 рублей серебром (150 франков равнялись 37,5 рубля серебром).

Граф Понятовский – имеется в виду князь Иосиф Понятовский (1763–1813), командовавший польским корпусом в армии Наполеона.

Цванцигер – мелкая разменная монета в 20 крейцеров (около 25 копеек серебром).

С. 322. *Знакомая незнакомка* – выражение стало особенно популярным после появления в 1821 г. под этим названием прозаической аллегории Ф. Н. Глинки.

С. 324. *...читал в листке...* – т. е. в местной газете, помещавшей фамилии лиц, приехавших на курорт.

С. 326. *Немецкая полумиля* (географическая) – 3710 м. 21 см.

С. 327. *Вписав в путевую тетрадь...* – Точность описаний в «зарубежных» рассказах Вонлярлярского не позволяет усомниться в истинности этого сообщения: писатель несомненно во время путешествий вел дневник, на который и опирался, создавая «Воспоминание о Захаре Иваныче».

С. 329. *Лабичский Йозеф* (1802–1881) – австрийский скрипач и композитор; с 1835 по 1853 г. руководил в Карлсбаде собственным оркестром,

С. 331. *Каломель* – хлористая ртуть, используемая в медицине как дезинфицирующее средство.

С. 337. ...как безумный, выбежал из дому пятидесятилетней Анны Фадеевны... – Напомним, что гоголевская старосветская помещица Пульхерия Ивановна Товстогубиха умерла от старости в пятьдесят пять лет.

Примечания

1

Давно ли милостивый государь приехал в
Дрезден? (искаж. нем.)

[^^^]

2

Не понимаю (искаж. нем.).

[^^^]

выпусти (искаж. нем.).

[^^^]

домой! (искаж. нем.)

[^^^]

перцу... (нем.)

[^^^]

6

Ваш сын пьет хорошо, очень хорошо (искаж. нем.).

[^^^]

Ключ, минеральный источник (нем.),

[^^^]

Прыжок оленя (нем.).

[^^^]

Господин граф! (нем.)

[^^^]

Простите, сударь! (фр.)

[^^^]

Должна вам сказать, мсье, что я себя очень плохо чувствую (фр.).

[^^^]

12

Какая неосмотрительность! какая неосмотрительность! (фр.)

[^^^]

Боже сохрани (нем.)

[^^^]

Для русского господина (нем.).

[^^^]